

The background of the cover is a detailed illustration of a library. In the foreground, an open book with dense text lies on a surface. Behind it, tall wooden bookshelves are filled with books. A large, ornate archway is the central focus, through which a bright, ethereal blue light emanates. This light reveals a fantastical, ancient cityscape with tall spires and classical architecture. The scene is framed by two large, carved columns that show signs of age and decay, with some vines or roots creeping up them. The overall atmosphere is one of mystery and discovery.

Валерий Стрижов

**ПИСЕЦ
ПУСТОТЫ.
ПИСЕЦ ЭХА.**

Валерий Стрижов

ПИСЕЦ ПУСТОТЫ. ПИСЕЦ ЭХА.

<https://litres.ru/74220529>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мир — это живая книга, а реальность — текст, полный ошибок и лакун. Голод, обитающий в промежутках между словами, ждёт своего часа, чтобы переписать всё заново, стерев боль, а вместе с ней — свободу, любовь и саму жизнь.

Расмус Андерсен, археолог из Копенгагена, просыпается в каирском пансионе с выжженной памятью и сорока двумя иероглифами под кожей. Он — Писец, седьмая итерация существа, созданного для редактирования бытия. Его задача — чинить разрывы в ткани реальности, но каждый акт правки требует жертвы: стирания имён, воспоминаний и самой личности.

Сражаясь с Псами — ошибками Текста, — и следуя за таинственной Хранительницей Лейлой, Расмус раскрывает собственную трагическую историю. Он уже шесть раз умирал, пытаясь остановить хаос: как шумерский жрец.

«Писец Эха» — это мистический триллер о том, что настоящая сила не в переписывании истории, а в умении нести её бремя.

Роман о памяти, прощении и любви, которая готова стать чистым листом, чтобы дать миру начало.

Валерий Стрижов

ПИСЕЦ ПУСТОТЫ.

ПИСЕЦ ЭХА.

ПИСЕЦ ПУСТОТЫ.

Пролог

Песок вошёл в лёгкие раньше света.

Тьма пахла толчёными костями, старым битумом и тем тлением, какое бывает лишь в гробницах, запечатанных временем. Он лежал на спине, руки вдоль тела, локти под прямым углом — его уложили по канону, готовя к путешествию, которого никто не совершал. Грудная клетка вздымалась без его воли: мех, забытый отключить.

Имя. Ему требовалось имя. Своё или чужое — он не разбирал. В сознании билась цифра: сорок два. Не мысль — необходимость, острая, как жажда в пустыне. Не произнесёт сорок два имени — умрёт. Хуже: обратится в то, что даже смерть не берёт в реестр.

Он разлепил веки, склеенные запёкшимся молчанием. Темнота оказалась неравномерной: в ней плавали пятна более густой черноты, и они шевелились. Затылок скребнул по шершавому камню, внутри черепа загудел низкий, настраивающийся звук. Звук шёл не снаружи — из груди.

Опустив подбородок, он увидел свою кожу. Вдоль ключиц, обвивая рёбра, уходя под живот, тянулись письмена — не нарисованные, а вбитые в плоть, словно игла ходила под дермой. Краска тёмно-синяя, почти чёрная, но при моргании знаки вспыхивали золотом. Один он успел разобрать. Иероглиф в форме открытого овала с вертикальной чертой — рот. Отверстие, через которое душа покидает тело и через которое ложь входит в мир.

Иероглиф пульсировал в такт сердцу. Сердце, значит, ещё не съедено.

— Ты должен назвать их, — произнёс голос не в ушах, а прямо в позвонках, между третьим и четвёртым. Голос сухой, как сломанный папирус. — Прежде чем песок заменит кровь, назови сорок два имени. Каждое — дверь. Каждая дверь — суд. Пропустишь одно — станешь тем, кого нельзя вспомнить.

Он хотел спросить «кто ты», но из горла вышел лишь хрип. Воздуха было мало. Песка — чересчур много. Он закашлялся; с губ сорвались чёрные крупницы, упали на грудь, смешались с потом и превратились в тушь, впитавшуюся в татуировки. Знаки стали ярче.

Тогда пришло первое имя. Не как звук — как вкус. Полынная горечь на корне языка.

— Уа-неферет, — узнал он не голосом, а знанием. — Измеряющий тени.

Иероглиф на правой ключице исчез, оставив гладкую, тёп-

люю кожу. Боль в правом боку отступила на ширину пальца. Песок из лёгких пошёл легче.

Он лежал и называл имена. Второе явилось запахом ладана с ржавчиной. Третье — холодной иглой в позвоночнике. Четвёртое — звуком собственного голоса, проигранного задом наперёд. Он не помнил их источник, но они были — словно кто-то вписал их под кожу задолго до рождения и теперь зачитывал вслух через его угасающую память.

Семь. Двенадцать. Двадцать одно... На мгновение он ощутил прикосновение: мокрая кисточка провела по внутренней стороне предплечья, оставляя новый знак, который тут же гас.

С каждым именем один иероглиф тускнел. Кожа очищалась, но в груди нарастала тяжесть. Татуировки были не проклятием — счётчиком. Чем меньше знаков, тем ближе он к тому, что ожидало в центре тьмы.

На тридцать девятом имени пол зашевелился. Из камня, как из мокрой глины, проступили ступни — тяжёлые, вязкие шаги, поднимающиеся снизу. Каждый след затягивался, следующий становился глубже. Не хождение — всплытие.

— Ты слишком медлителен, — произнёс голос уже из самого камня. — Ты забыл сороковое. Имя Держащего весы.

Паника ударила быстрее пульса. Три последних иероглифа на рёбрах вспыхнули белым, обжигая. Под веками возникли весы — не чаши, а две пустые ладони, сложенные лодочками друг против друга. Между ними висела пыльца всех

несуществующих цветов.

Сороковое имя не пришло. Оно уже было здесь — чувством собственной тени, распятой под ним. Он понял: он лежит не на камне, а на своей тени, растянутой в бесконечно тонкий слой. Не назови он имя — тень отделится и уйдёт навсегда.

— Ам-сут, — прошептал он одними губами, без голоса.
— Тот, кто не даёт теням убежать.

Предпоследний иероглиф погас. Грудь почти очистилась. Остался один — прямо над сердцем. Круг с точкой в центре: Ра, но не бог, а возможность бога, ещё не решившая, становиться ли бытием.

Шаги остановились. Кто-то склонился над ним — лица он не видел, но ощутил горячее дыхание, пахнущее натроном и засахаренным мёдом.

— Последнее имя, — сказал голос, и в нём больше не было угрозы, только вековая усталость. — Ты можешь не называть его. Промолчишь — останешься здесь. Навсегда. Это не жизнь и не смерть. Это память, которую никто не хранит.

Он открыл глаза. Перед ним стояла фигура с головой шакала. Шакал улыбался — мягкой, почти отцовской улыбкой, трескающейся по краям, как старая маска.

— Время ещё есть, — сказал Анубис. — Но имя, которое ты должен назвать, — твоё собственное. Ты помнишь его?

В зазоре между песком и вечностью он вдруг вспомнил не имя, а ту секунду, когда его забыли. Рождение в 1936-м,

смерть в 2026-м, и тонкая нить, соединяющая даты в петлю. Последний иероглиф был не богом Ра. Это был он сам. Круг — голова. Точка — зрачок, которым он сейчас смотрит в лицо Судьи.

— Меня зовут...

Песок хлынул из углов гробницы, забивая рот, глаза, уши. Он захлебнулся тишиной — и очнулся.

За окном бил резкий каирский свет. Он сидел на деревянном стуле в комнате с побелёнными стенами. Перед ним чашка густого кофе, на стене — карта Долины Царей с жирными красными крестами. Рядом, положив ногу на ногу, сидела женщина в белом льняном костюме и смотрела на него с холодным, исследовательским любопытством — но где-то в глубине зрачков тлел огонёк узнавания, почти личный.

— Вы говорили во сне, — сказала она. — Повторите, пожалуйста. Для моего исследования это крайне важно.

Он моргнул. Под рубашкой, на груди, горели все сорок два иероглифа — он не видел их, но чувствовал, как они пульсируют, вбивая ритм сердца в строки древнего текста. Всё забыто, кроме числа.

— Сорок два, — произнёс он хрипло. — Мне нужно назвать сорок два имени. Все.

Женщина улыбнулась одними губами и записала что-то в блокнот. Она ещё не знала, что это не диагноз и не бред. Это приговор. Тот, кто назовёт все имена до конца, перестанет быть человеком и станет тем, что пишет тени вместо судеб.

Он не помнил своего имени. Но уже знал конец. И этот конец был написан не на бумаге.

Он отпил кофе. Горечь на языке превратилась в сладость — точь-в-точь как вкус полыни от первого имени, только вывернутый наизнанку. Где-то глубоко внутри зашевелилась первая буква забытого имени, которую ему предстояло вспомнить, чтобы стереть.

Глава 1. Мумия и Скрипач

Каир, апрель 1936 года

Скрипка проснулась раньше муэдзина.

Звук просочился сквозь известковую стену не мелодией — настройкой. Кто-то за перегородкой пробовал воздух смычком, брал одну ноту, держал её, пока она не начинала дрожать на грани срыва, и отпускал. Затем другую — на четверть тона выше. И снова держал, вслушиваясь в то, как вибрирует штукатурка.

Расмус лежал на панцирной кровати, укрытый не простыней, а собственным потом, и смотрел в потолок. Потолок был в трещинах, и одна из них напоминала иероглиф «рот» — овал с вертикальной чертой. Или ему теперь всё будет напоминать иероглифы.

Он не помнил, как добрался до пансиона. Последнее, что осталось в памяти: лицо женщины в белом костюме, её блокнот и собственный голос, хрипло повторяющий «сорок два».

А перед этим — песок. Гробница. Глаза шакала, уставшие, как у пса, которого слишком долго не отпускают с привязи. Он помнил, что назвал не все имена. Вернее — назвал все, кроме последнего. Своего.

Он сел, спустив ноги на пол. Доски были тёплыми — солнце уже час как встало. В углу комнаты умывальник с треснувшим зеркалом. Расмус подошёл, опёрся руками о жестяной край и посмотрел на себя.

Из зеркала глядел мужчина лет тридцати пяти, которого он не узнавал. Лицо с резкой складкой у рта и светлыми глазами, слишком светлыми для здешнего солнца. Чужим было ощущение. Актёр, загримированный для роли, которую ещё не выдали.

Он расстегнул рубашку.

Сорок два иероглифа горели на коже мягким золотом, как угли под слоем пепла. Провёл пальцем по знаку над левым соском — кожа ответила теплом, почти удовольствием. Живые. Все сорок два. Во сне они гасли один за другим, и боль уходила. Здесь, наяву, они горели в полную силу, и это означало одно: работа не сделана. Сорок два имени ещё предстоит назвать. В реальном мире. С реальными последствиями.

За стеной скрипка смолкла. В тишину вошли мягкие, шаркающие шаги в коридоре. Кто-то остановился у его двери. Не постучал — просто стоял, и Расмус кожей, той самой, что носила имена, ощутил присутствие. Не угрозу. Настройку — как перед взятием ноты.

— Войдите, — сказал он.

Дверь отворилась бесшумно. На пороге стоял старик в длинной галабее. Лицо изрезано морщинами, как пересохшее русло, но глаза закрыты. Веки запали глубоко, срослись по краям — он не видит много лет. В одной руке смычок, в другой трость из потемневшего дерева. Трость не касалась пола.

— Ты проснулся, — произнёс он по-арабски, но Расмус понял каждое слово. — Я слышал, как твои имена зашевелились.

— Откуда вы знаете про имена? — не спросил Расмус. Слишком поздно для логики.

Старик чуть наклонил голову.

— Меня зовут Ибрагим. Я живу за стеной. Играю на скрипке. Моя музыка помогает слышать то, что другим недоступно. — Он помолчал. — Сегодня ночью ты произнёс одно имя полностью. Оно прозвучало не здесь, а там, — смычок указал в пол, — но эхо достигло моей комнаты. Я записал его.

— Записали? Вы слепы.

— Звуком. Каждое имя имеет свою ноту. Твои сорок два имени — сорок две ноты. Сыграть их в правильном порядке — откроется дверь. Ошибиться — откроется другая. Хочешь послушать?

Смычок коснулся струн. Из-под дерева выплыл долгий, звенящий звук — микротон, от которого заныло в коренных

зубах. Точно так же звенел воздух в гробнице, когда он произнёс первое имя.

— Уа-неферет, — сказал Расмус.

Иероглиф на правой ключице потеплел, но не погас. Ибрагим кивнул и опустил смычок.

— Хорошо. Ты не забыл. Первый ключ. Осталось сорок один.

— Зачем вы мне это говорите?

Старик повернул голову, и его запавшие веки нацелились прямо в грудь Расмуса — туда, где горел круг с точкой.

— Ты не первый, — сказал он тихо. — За последние сто лет я встретил троих таких, как ты. Один был коптским монахом из Вади-Натрун. Называл имена и исцелял бесноватых, пока не назвал своё собственное — и исчез. Второй — англичанин, археолог. Нашёл табличку в Уре, пытался прочесть вслух. Когда дошёл до середины, у него отнялся язык. Третий... — Ибрагим замолчал, смычок дрогнул. — Третий ещё здесь. И он ищет тебя.

Скрипка издала короткий всхлип.

— Кто?

— Тот, кто хочет, чтобы ты назвал имена не по порядку. Тот, кто питается ошибками писцов. У него много имён, но моя скрипка зовёт его Мамму. Это не бог, не демон. Это пустота, которая хочет стать словом.

Ибрагим развернулся и пошёл по коридору, ведя смычком по стене, словно читая штукатурку. У порога своей комнаты

остановился.

— Женщина, что приходила к тебе вчера, — добавил он, не оборачиваясь. — Она вернётся вечером. Будь осторожен. Она не верит в магию, а это опаснее любой веры.

Дверь закрылась. Через минуту из-за стены снова полилась скрипка — древняя и тягучая, как плач по водам Нила.

Расмус оделся. Рубашка прилипла к иероглифам, каждый шаг отдавался в груди частым пульсом знаков. Он спустился в общий зал, где пахло жжёным сахаром и кардамоном. За единственным столом сидел человек европейской наружности и пил чай из маленького стакана. Увидев Расмуса, он улыбнулся — слишком быстро, слишком широко.

— Доброе утро, мистер... э-э... — он замялся.

— Просто Расмус.

— Очень приятно. Мехмет. — Ладонь была сухой и горячей. — Я торгую древностями. В основном подделки для туристов, но иногда попадаются настоящие вещицы. Ваш друг, слепой скрипач, сказал, что вы интересуетесь именами.

Расмус напрягся.

— Я не интересуюсь именами.

Мехмет развёл руками.

— Как скажете. Просто у меня есть одна вещица... Табличка. Шумерская. С ладонь. На ней — имя. Одно-единственное. Тот, кто держал её до меня, утверждал: если произнести его вслух, можно открыть дверь, которую лучше не открывать.

Он извлёк фрагмент серой глины. Края оплавлены, словно табличку достали из печи слишком рано. По лицевой стороне бежали клинописные знаки — Расмус не знал шумерского, но один знак узнал мгновенно: открытый овал с вертикальной чертой. Рот. Тот самый, что пульсировал на груди.

— Сколько вы за неё хотите?

— Нисколько. Я хочу, чтобы вы её прочитали. Вслух. Здесь и сейчас.

Расмус взял табличку. Глина была горячей, как живая. Иероглиф на груди отозвался резкой болью. Если произнести имя — один из сорока двух знаков погаснет. Какой ценной?

За спиной Мехмета колыхнулась тень, хотя в зале не было никого, кто мог бы её отбросить. Тень сгустилась, приняла очертания пса — слишком длинного, слишком голодного, с мордой, повёрнутой не к Расмусу, а к табличке.

— Читайте, — прошептал Мехмет. Голос его изменился: в нём появился резонирующий гул.

Расмус открыл рот — и скрипка за стеной взвизгнула на самой высокой ноте.

Он уронил табличку. Она упала на каменный пол и раскололась надвое. Тень рассеялась. Мехмет моргнул, схватился за голову.

— Я... прошу прощения. Мне дурно. Мы говорили о...
— Он осёкся, увидел осколки. — О Господи. Я же просил вас не читать.

— Вы просили прочитать.

— Нет. — Мехмет затряс головой. — Я просил не читать. Ни в коем случае. Она проклята. Простите, мне нужно идти. Он бросил на стол смятую купюру и выбежал.

Расмус наклонился, поднял обломки. Клинопись уже не пульсировала. Он почти произнёс имя. Ещё секунда — и последний иероглиф погас бы. И что тогда? Стал бы тем, кого нельзя вспомнить? Или тем, кто пишет тени?

Сверху спустилась хозяйка пансиона, пожилая египтянка с лицом, высеченным из базальта. Молча собрала осколки в совок.

— Этот человек, — сказала она, — приходил утром. Искал вас по описанию. Сказал, что у него послание от Лейлы.

— От кого?

— Женщины, что была здесь вчера. Лейла Нассер. Работает на французское общество. Ищет гробницу, которую все считают вымыслом. — Хозяйка вытерла руки о фартук. — Она велела передать: вечером ждите. Вас хотят нанять. Платят щедро. И ещё... псы уже в городе.

За окном пронёсся ветер, подняв облако пыли. Пыль пахла полынью и засахаренным мёдом.

Расмус поднялся в комнату. Скрипка за стеной играла сорок две ноты по кругу, на тридцать девятой запиналась.

Он сел на кровать, закрыл глаза и попытался вспомнить своё имя. Тщетно. В памяти зиял провал — ровно той формы, какую оставляет последний иероглиф: круг с точкой.

Тогда он сделал единственное, что имело смысл. Взял лист бумаги, огрызок карандаша и записал первое имя — Уа-неферет. Буквы вышли корявыми, чужими, но стоило поставить точку, как иероглиф на ключице на мгновение полыхнул жаром — и в комнате запахло лотосом.

Он смотрел на лист и понимал: он не просто называет имена. Он их выпускает. Каждое написанное слово — дверь. И то, что стоит за дверью, ждёт не его. Оно ждёт своего имени.

Он взял карандаш и написал второе.

За стеной скрипка взяла новую ноту. На окраине Каира завывала собака.

Вечер обещал быть долгим.

Глава 2. Лейла-искусительница

Сумерки в Каире пахли просыпающейся угрозой.

Расмус сидел у окна, положив перед собой два листка. На первом корявым почерком — «Уа-неферет». Буквы прилёплись к бумаге, пустили корни в целлюлозу; проводишь пальцем — иероглиф на ключице отзывается глухим теплом. Второй лист нёс имя, пришедшее час назад без вкуса и запаха, как поплавок из мутной воды: «Сехет-Иб», Тот, кто очищает сердце. Записал — второй знак на рёбрах мягко запульсировал в такт первому.

Третье имя ещё не пришло. Он ждал, занеся карандаш над чистым листом.

За стеной скрипка Ибрагима выводила сорокадвухнотный круг — методично, без обычных сбоев. Но сегодня на тридцать девятой ноте смычок задерживался на долю секунды дольше, и в этом микроскопическом промедлении Расмусу чудилось не «берегись», а «слушай».

Он отложил карандаш. Духота стояла плотная, как вата, пропитанная кардамоном и собственной испариной. В открытое окно не тянуло ни ветерком; листья пальмы во дворе замерли, будто нарисованные. И в этой неподвижности Расмус впервые заметил тишину, которая тишиной не была. Под слоем привычных звуков — лай, смех из кофейни, дребезжание трамвая — проступал иной шум. Не звук, а его отсутствие, обретающее форму. Кто-то вырезал из воздуха кусок и вставил обратно неправильно.

Он подошёл к окну. Двор: пыльный квадрат, побеленные стены, ржавая цистерна, похожая на бегемота, горшки с похухлой геранью. И тени. Слишком длинные для этого часа, слишком подвижные. Та, что падала от цистерны, шевельнулась, хотя цистерна стояла на месте.

Расмус отшатнулся. За спиной прошёл сквозняк; пламя свечи на столе вытянулось в струну и сменило цвет с жёлтого на синюшный. Иероглифы на груди вспыхнули все разом,

и под кожей прокатилась волна жара, сменившаяся ледяной пустотой.

Они уже здесь.

Из угла за платяным шкафом выдвинулась голова. Собачья, но слишком вытянутая, слишком плоская — расплюснутая между страницами. Глаза горели не огнём, а его отсутствием: синеватая чернота сердцевины газового пламени. Пёс-Тень открыл пасть, и Расмус не услышал рыка — он почувствовал его в животе, низкочастотную вибрацию, от которой задрожали пломбы.

Второй просочился из-под двери. Не вошёл — протёк, как вода, только медленнее и против тяжести: лужа растеклась, вздулась горбом, выпростала лапы, хребет, хвост. Два существа блокировали комнату, оставляя лишь узкий проход к окну. Расмус схватил стул, выставил перед собой — ножки прошли сквозь ближайшего пса, не встретив сопротивления. Тень даже не дрогнула.

— Ибрагим! — крикнул он в стену, но скрипка смолкла, и ответом стало эхо.

Псы двинулись синхронно, сместились, и из груди Расмуса потянуло тепло. Они не кусали тело — пили иное: то, что древние называли *ка*, жизненную силу, истекающую через имена. Последний иероглиф — круг с точкой — завибриро-

вал особенно остро. Они пришли за его правом быть.

Инстинкт сработал раньше рассудка:

— Уа-неферет!

Иероглиф на ключице полыхнул золотом, ближайший пёс отпрянул, будто хлестнули раскалённой проволокой. Запах палёной шерсти и лотоса ударил в ноздри. Пёс заскулил — высоко, тонко, — но не исчез. Второй качнулся вперёд.

— Этого мало, — прошелестел чужой голос в сознании, вкрадчивый, как песок под веки. — Ты знаешь только свои. Отдай своё — и они уйдут.

Расмус замотал головой. Отдать имя — исчезнуть из памяти всех, включая тех трёх, что стояли на границе сна. Он ещё не помнил их, но знал: сдаться — значит растворить их вместе с собой.

Пёс прыгнул.

В этот миг окно за спиной взорвалось стеклянным дождём.

Сквозь раму, ломая переплёты, в комнату влетела женщина — приземлилась на корточки с грацией уличного бойца.

В одной руке «вальтер», в другой — электрический фонарь с толстой линзой. Она включила его и направила луч в морду ближайшего пса.

Свет ударил как кулак — плотный, резко очерченный, словно вырезанный из твёрдого вещества. Там, где он касался тени, тень вспыхивала и сворачивалась, как сожжённая фотоплёнка. Пёс взвизгнул, отшатнулся, начал таять. Второй попытался обойти с фланга — женщина развернулась и хлестнула лучом по морде. Тварь рассыпалась клубом саж.

— Лежать! — скомандовала она, не оборачиваясь. Голос низкий, с хрипотцой, без истерики.

Расмус не лёг, прижимая к груди обломок стула, и смотрел, как она обшаривает комнату фонарём. Тьма неохотно отступала, сгущаясь в комки. Женщина выругалась по-французски, вытащила металлическую флягу, плеснула на пол жидкостью, пахнувшей спиртом с канифолью. Чиркнула спичкой, бросила в лужу. Вспыхнуло синее пламя, очертив неровный круг. Тени за его пределами беспокойно зашевелились.

Только после этого она выпрямилась, отбросила волосы с лица и посмотрела на Расмуса.

Он узнал её мгновенно — та самая женщина из момента пробуждения: белый льняной костюм, холодное любопыт-

ство во взгляде, блокнот. Теперь костюм был перепачкан сажей, рукав разорван, на скуле алела царапина. Взгляд — сосредоточенный до предела, но в глубине зрачков тлел всё тот же личный огонёк. Словно она знала его раньше.

— Вы живы? — спросила она, опуская пистолет. — Царапины? Укусы?

— Нет. Они не кусали. Они... тянули.

— Тянули. — Она попробовала слово на вкус. — Значит, ещё не добрались до костного мозга. Что вы им отдали?

— Имя. Но не своё.

Она прищурилась, сунула пистолет в кобуру, фонарь поставила на стол, вытащила портсигар. Костяшки пальцев побелели, когда она щёлкала зажигалкой. Дым смешался с запахом спирта и горелого стекла.

— Меня зовут Лейла Нассер. Археолог-полевик, контракт с частным обществом. Четыре дня назад вы появились в Каире без документов, без багажа, но с татуировками, которые светятся в темноте. Меня наняли выяснить, почему каждая ворожея от Александрии до Асуана твердит, что «Писец проснулся». — Она затянулась. — Я не верю в магию, но я верю в факты. Факт: вы только что чуть не погибли от

нападения неклассифицированных зоологических объектов, которые ведут себя как тени и боятся электрического света. Факт: вы произнесли слово, и один из них отступил. Факт: я разбила окно, потому что дверь была заблокирована. — Страхнула пепел на пол. — Какого чёрта здесь происходит? И не говорите «сорок два», это я уже записала.

Расмус молчал. Четыре дня. Он помнил только сегодняшнее утро и прошлую ночь. Сел на край кровати — ноги стали ватными. Лейла, поколебавшись, подвинула ему стул. Движение машинальное, но в нём мелькнуло почти человеческое.

— Я не знаю, — сказал он. — Кто я, откуда эти знаки. Помню гробницу, песок и голос, который велел назвать сорок два имени. Если не назову все — случится что-то плохое.

— Плохое — это вроде этих псов?

— Хуже.

Лейла затушила сигарету о подоконник, закурила новую. В неверном свете лицо — слоновая кость: острые скулы, твёрдый подбородок, рот, привыкший командовать. Но глаза выдавали: в них шла напряжённая работа — не паника, а попытка разложить невозможное на составляющие.

— Ладно, — выпустила дым. — Имена. Сорок два. Когда

они все погаснут — что?

— Не знаю. Во сне я назвал все, кроме последнего. Своего. И когда почти назвал — очнулся.

— Значит, последнее имя — вы сами. Назовёте — умрёте или станете тем, кто пишет тени. — Она не спрашивала. — Ваша хозяйка за двойную плату разговорилась. Вы бормотали во сне о тенях. — Кивнула на его грудь. — Один из знаков — «тень». Я прочла. Я всё-таки археолог.

Расмус машинально прикрыл грудь. Лейла покачала головой:

— Я уже видела. Вчера, когда вы были без сознания, пыталась зарисовать. Они меняют начертание каждые три-четыре часа. Такого нет ни в одной системе письма. Это что-то живое. Текст, который хочет быть прочитанным. — Горько усмехнулась. — Я уже думаю как каббалист. Дурной знак.

Пламя на полу угасало. Тени за кругом вновь сгустились, но не проникали внутрь. Ждали. Лейла покосилась на окно.

— Здесь оставаться нельзя. Фонаря хватит на три часа, синее пламя скоро погаснет. У меня убежище — пансион «Блю Нил», два квартала. Там электричество, генератор на всю ночь. Идти можете?

— Зачем вам это? — Расмус не двинулся. — Какое общество нанимает археолога следить за человеком с татуировками?

Лейла отвела взгляд — не ложь, скорее, нежелание говорить всё.

— Моя нанимательница интересуется аномалиями. Финансирует экспедиции, ищущие доказательства допотопных цивилизаций. Когда по Каиру поползли слухи о человеке, который светится и помнит имена богов, она прислала телеграмму: «Найди». — Она развела руками. — Я нашла. Теперь пытаюсь понять, что писать в отчёте.

— Значит, вы мне не верите.

— Я верю своим глазам. Эти твари чуть не убили меня, пока я лезла по трубе. — Коснулась царапины на скуле. — Вы — ключ. К гробнице, которую мы ищем, или к чему-то ещё. Пока я не выясню, вы нужны мне живым. Чисто практический интерес.

— А если я откажусь?

— Тогда останетесь здесь. Один. С теньями, у которых есть хозяин. — Она обернулась. — Слово «Мамму» ваша хозяйка повторила, описывая ваш бред. Звучит недружелюбно.

За стеной скрипка запела новую мелодию — тягучую, как мёд, и горькую, как полынь. Расмус вдруг понял, что доверяет этой женщине — инстинктом, тем самым, что заставил выкрикнуть имя в лицо псам. Или это скрипка заставила? Он не знал.

Лейла нахмурилась, рука потянулась к кобуре.

— Это ваш сосед? Слепой скрипач?

— Ибрагим. Он помогает мне.

— Слепой помогает... Ладно. Берите листы, карандаш. Мы уходим. По дороге расскажете всё без утайки.

Расмус собрал два исписанных листка, чистый третий, сунул карандаш в карман. Пламя почти погасло, тени уплотнились. В дверном проёме на мгновение мелькнул силуэт — высокий, сутулый, с длинными руками, — но Лейла уже тащила его за рукав к окну.

— Прыгаем. Внизу навес. Я первая, вы за мной. Приземляйтесь на левый бок.

— Вы сумасшедшая?

— Возможно. Но я единственная, у кого есть электриче-

ский фонарь и желание разобраться. По-моему, аргумент.

Она перекинула ноги через подоконник, бросила вниз пиджак, прыгнула. Секунда — снизу голос:

— Давайте, Писец! Время уходит!

Расмус оглянулся: разбитое окно, опрокинутый стул, гаснущее пламя, две тени в углах. Прыгнул. Приземлился на спину, выбив воздух. Лейла рывком подняла его, сунула в руки фонарь и побежала по переулку. Он — за ней. Топот шагов мешался с далёким воем — не собачьим, но похожим.

Пансион «Блю Нил» — облупленный фасад, ярко горящие окна. У входа Лейла остановилась, тяжело дыша, убрала пистолет.

— Последний вопрос. Тогда утром вы сказали: «Мне нужно назвать сорок два имени. Все». И добавили что-то про тех, кого забыли. Кто они?

Расмус посмотрел на ладони. У основания большого пальца проступил новый знак — три идущих силуэта: мужчина, женщина, ребёнок.

— Я не помню. Но должен. Иначе всё зря.

Лейла долго смотрела, потом кивнула и толкнула дверь.

— Заходите. Завтра много работы. Найдём торговца древ-

ностями, который подобрал то, чего не следовало касаться. И ещё... — задержалась на пороге. — Не доверяйте скрипачу. Слепые не играют мелодии, которые слышат только что родившиеся покойники.

Дверь закрылась. Скрипка за стенами смолкла, будто её и не было. В разбитом окне две тени слились в одну и втянулись внутрь. Запах лотоса с полынью ещё долго висел в воздухе.

Наутро хозяйка, войдя с веником, скажет, что здесь побывал дьявол.

А сейчас Каир спал, и сорок два огонька на груди Расмуса мерцали в такт шагам, уводящим его всё дальше от человека, которым он был.

Глава 3. Литейщик

Утром Каир накрыло маревом, какое бывает только в апреле: жара ещё не созрела для хамсина, но уже оторвалась от земли и висела плотным слоем, размывая очертания минаретов. В пансионе «Блю Нил» гудел генератор, питая редкие лампочки, и этот механический звук отдавался в зубах — та же низкочастотная вибрация, что у Псов-Теней перед нападением.

Он проснулся на жёсткой койке в комнате без окон. Лей-

ла, с неожиданной предусмотрительностью, поселила его в подвал, служивший раньше кладовой для специй. Стены до сих пор пахли кумином и гвоздикой, и от этого запаха иероглифы за ночь ни разу не вспыхнули сами по себе — только мерцали в такт сердцу, ровно, убаюкивающе.

Ему снилась мать — он знал, что это она, хотя не мог разглядеть лица. Она стояла по колено в чёрной воде, не отражавшей неба, и держала глиняный горшок, разбитый пополам. «Ты не можешь склеить его именами, — говорила она голосом, похожим на скрипку Ибрагима. — Ты можешь только написать на черепках новые слова. Но старые исчезнут». С каждым его шагом вода становилась глубже. Проснулся он с привкусом песка на языке.

Лейла уже ждала его в общем зале. Она сменила разорванный костюм на свободную рубашу и широкие штаны — наряд, позаимствованный у хозяйки, — и от этого стала выглядеть моложе и уязвимее, хотя пистолет по-прежнему висел под мышкой. Перед ней стояли две чашки кофе и тарелка с финиками.

— Ешьте, — сказала она вместо приветствия. — У нас мало времени. Я навела справки.

Расмус сел, взял финик, но есть не стал — катал его в пальцах, пока липкая сладость обволакивала кожу.

— Торговец, о котором вы говорили вчера, — начал он. — Мехмет. Он уже приходил ко мне утром. До того, как появились псы.

Лейла замерла с чашкой у губ.

— Приходил? Сюда?

— В старый пансион. У него была табличка. Шумерская. Он просил прочитать имя, потом передумал. Сказал, что просил не читать. Убежал, когда табличка разбилась. — Расмус помолчал. — Он был не в себе. Его глаза... под ними что-то двигалось.

Лейла поставила чашку и вытерла губы тыльной стороной ладони.

— Описание совпадает, — произнесла она медленно. — Мехмет-эфенди, турецкий перекупщик с дурной репутацией. Скупает краденое из раскопок в Уре, переплавляет золото, а глиняные таблички продаёт в Европу. Месяц назад приобрёл на аукционе в Багдаде лот, которого не было в официальном каталоге: фрагмент таблички из царских архивов Ура Третьей династии. Говорят, пытался прочесть его самостоятельно и с тех пор... изменился. Перестал выходить из дома, разогнал слуг, завесил окна чёрной тканью. Соседи жалуются на запах.

— Запах?

— Тления, — коротко ответила Лейла. — И ещё — говорят, он поёт. Вернее, не поёт, а бормочет на языке, которого никто не понимает. Но тот, кто слышит это бормотание слишком долго, начинает видеть сны о зиккуратах.

Она отодвинула тарелку и подалась вперёд.

— Вчера вечером, перед тем как идти к вам, я получила

телеграмму от нанимательницы. Она требует изъять табличку и доставить в Каирский музей. Но теперь, когда я знаю, что табличка разбилась... — Лейла прищурилась. — Вы говорите, она разбилась на куски? Что вы с ними сделали?

— Хозяйка выбросила их в мусор.

— Чёрт. — Лейла вскочила. — Значит, нам нужно к Мехмету. Немедленно. Если он одержим тем же, что было в табличке, он опасен. И он может знать то, чего не знаете вы.

Она натягивала лёгкий пиджак, проверяла батареи фонаря. К поясу у неё был приторочен кожаный мешочек с медными гильзами — не пули, а нечто вроде патронов, начинённых солью и серебряной пылью. Заметив взгляд Расмуса, Лейла криво усмехнулась:

— Против неклассифицированных объектов. Серебро и соль — старый рецепт, на псов действует. На людей, одержимых именами, — не уверена.

Дом Мехмета стоял в переулке за Шариа-эль-Хальфа, в квартале, который когда-то был богатым, а теперь напоминал увядшую розу — лепнина облупилась, машрабии покосились, только ржавые решётки говорили: здесь ещё живут люди, которым есть что прятать.

Запах тления они почуяли за три дома до цели. Сладкий, приторный, с металлическим оттенком — гниющая плоть, пересыпанная солью. Лейла прижала платок к носу и жестом

велела Расмусу держаться за её спиной.

Дверь была заперта, но замок простой; Лейла справилась с ним шпилькой за полминуты. Они вошли в темноту, и иероглифы на груди Расмуса зашевелились — не от страха, а от узнавания. Где-то в глубине дома пульсировало нечто, говорящее на том же языке, что и его кожа.

Комнаты завешены чёрной тканью, сквозь которую не проникал свет. В воздухе висела взвесь — не то пыль, не то споры, — каждый шаг вздымал её облачком. На полу валялись осколки древних сосудов, обрывки папирусов, сломанные статуэтки ушебти. Мехмет явно пытался что-то найти — или, наоборот, уничтожить.

Они нашли его в последней комнате, бывшей кухне. Он сидел на полу, скрестив ноги, и раскачивался, как маятник. Тело исхудало до костей; кожа приобрела сероватый оттенок, а на предплечьях и шее проступили письмена — не татуировки, а раны, словно кто-то вырезал знаки ножом и залил чернилами. Но чернила светились — тускло, прерывисто, как угасающий фосфор.

— Мехмет, — позвала Лейла, не опуская фонаря.

Он не обернулся. Губы шевелились, исторгая поток гортанных, щёлкающих звуков, переходящих в свист. Расмус узнал язык, хотя никогда не слышал его раньше. Аккадский. Или то, что стало аккадским после трёх тысяч лет гниения в подземельях.

— *Ana libbi-ka atta kalû,* — бормотал Мехмет. — *Itti nâri*

illak šēdu. Ammini ul tazakkara šumī?

— Что он говорит? — шёпотом спросила Лейла.

Расмус не знал аккадского, но иероглифы на груди — знали. Они перевели без слов, вспышкой тепла и давления в висках:

— «В твоё сердце он вошёл. С рекой уходит демон. Почему ты не называешь моё имя?»

— Он спрашивает про имя, — сказал Расмус. — Хочет, чтобы кто-то назвал его. Или того, кто в нём сидит.

Мехмет резко перестал раскачиваться. Голова повернулась — слишком далеко, на сто восемьдесят градусов, — и Расмус увидел его лицо. Глаза открыты, но зрачков нет; в глазницах клубилась та же синеватая чернота, что и в мордах Псов-Теней. На лбу, над переносицей, пульсировал знак — не шумерский, не египетский, а нечто среднее: кто-то смешал две системы письма и получил третий смысл.

— Ты, — прохрипел Мехмет. Голос двойной: один из горла, другой из воздуха вокруг головы. — Ты — Писец. Держишь имена, но не знаешь, как их использовать. А я знаю. Я научился. — Он засмеялся, смех перешёл в кашель, исторгнувший сгусток чёрной слизи. — Я прочитал табличку. Не глазами — печенью. Она вошла в меня и показала всё: Ур, зиккурат, подземелья, реку слёз, чрево Абзу. Там сидит Тот-Кого-Нельзя-Называть. Он ждёт тебя, Писец. Но ты не дойдёшь. Я не отдам тебе дорогу.

Он вскочил с проворством, неожиданным для истощён-

ного тела, и выбросил вперёд руку. Из ладони вырвался язык тьмы — не тень, а струя густого дыма с текстурой мокрой глины. Лейла выстрелила; серебряная пыль вспыхнула, рассеивая тьму, но Мехмет метнулся к стене с кухонными ножами.

— Не убивайте его! — крикнул Расмус. — В нём заперто имя!

— Какое ещё имя?! — Лейла перезаряжала фонарь, уворачиваясь от ножа. — Он пытается нас прирезать!

Мехмет замер, тяжело дыша, и заговорил нормальным голосом — слабым, надтреснутым, человеческим:

— Помоги мне. — Он прошептал это, как выдыхают последний воздух. — Я не хотел... Оно вошло, когда я прочёл табличку. Сначала показывало сокровища — золото, лазурит, врата в подземелья. А потом начало есть. Мои сны, мои мысли, мои... — Он зарыдал, и из глаз потекли не слёзы, а чёрная слизь. — Оно хочет твоё имя, Писец. Последнее, сорок второе. Если ты отдашь его, оно оставит меня. Отдай!

Расмус смотрел на корчащегося человека; иероглифы на груди налились жаром. Они требовали действия. Каждое из сорока двух имён было не просто словом — оружием, дверью, приговором. И одно из них, он знал, могло изгнать то, что поселилось в Мехмете. Но какое? И как произнести его, не причинив вреда?

Лейла схватила его за плечо:

— Расмус! Если вы можете что-то сделать — делайте! Он

умирает!

Гнев пришёл без предупреждения — горячая игла под сердцем. Не на Мехмета — на себя, на Мамму, на тот порядок вещей, в котором люди становятся сосудами для чужого голода. Этот гнев поднялся из-под сорока двух знаков, из-под памяти, из-под самой его человеческой природы и бросил его вперёд, к умирающему. Он раскрыл рот и выкрикнул имя.

Оно не было тем, что он уже знал. Не Уа-неферет и не Сехет-Иб. Оно явилось в этот миг, вспыхнуло на кончике языка, как кусок раскалённого угля, и вырвалось наружу:

— Ашпуру!

Слово ударило в грудь Мехмета, как таран. На мгновение всё замерло: Лейла с поднятым пистолетом, Расмус с вытянутой рукой, Мехмет с открытым ртом. Знак на лбу торговца полыхнул ослепительным золотом — и погас.

И вместе с ним погасло что-то ещё.

Мехмет упал на колени. Тело обмякло, лицо разгладилось, черты потеряли напряжённость одержимости. Но вместе с ней ушло и другое: свет в глазах, который был там до того, как в него вселился демон. Из груди Мехмета, из того места, куда пришёлся удар словом, начало истекать нечто прозрачное — не душа, а её форма, её отпечаток. Оно таяло в воздухе, как пар над котлом.

— Что вы наделали? — прошептала Лейла.

Мехмет поднял голову. Он улыбался — блаженной, пу-

стой улыбкой человека, который больше не помнит ни боли, ни страха, ни своего имени.

— Спасибо, — сказал он совершенно спокойно. — Теперь хорошо. Теперь ничего нет.

И замолчал. Не умер — перестал присутствовать. Тело дышало, сердце билось, но тот, кто был Мехметом, уже ушёл. Не в смерть. В отсутствие.

Расмус посмотрел на правую ладонь. Там, где только что горел иероглиф «Ашпуру», зиял провал — не физический, а световой: знак всё ещё был на месте, но не светился. Он использовал его. Израсходовал. Сорок одно имя осталось.

И теперь он знал цену.

— Вы стёрли его, — сказала Лейла. Голос её звучал глухо, словно из-за стены. — Не демона. Не имя. Вы стёрли самого Мехмета. То, что делало его живым.

— Я хотел помочь. — Слова давались тяжело, как после долгого бега. — Оно бы убило его. Или сделало бы чем-то хуже.

— Вы сделали его ничем! — Она шагнула к нему, схватила за ворот рубахи. — Посмотрите на него! Он даже не помнит, что был человеком! Вы говорили, что имена исцеляют!

— Я ошибался. — Слова упали в тишину, как камни на дно колодца. — Они не исцеляют. Они переписывают. Я могу стереть боль, но вместе с ней — память о боли. Я могу стереть демона, но вместе с ним — ту часть человека, которую демон сожрал. А если демон сожрал почти всё... — он

замолчал, глядя на безучастное лицо Мехмета.

Лейла отпустила его и отошла. Плечи дрожали — не от слёз, от усилия сдержать ярость.

— Значит, вот какова ваша миссия, Писец? — произнесла она. — Вы будете называть имена, и с каждым именем кто-то будет исчезать? Вы не спаситель. Вы редактор. Вы правите текст мира, вымарывая лишнее.

— Я не знаю. — Расмус говорил, не отводя взгляда от пустой улыбки Мехмета. — Я не знаю, кто я. Но если я не назову все сорок два имени, случится нечто худшее. То, что сидит в Уре — Мамму, — оно ждёт. И если я не дойду до него, оно придёт сюда. Не в одного Мехмета — во всех.

С минуту они стояли в тишине, нарушаемой лишь бессмысленным бормотанием Мехмета, который гладил осколки посуды на полу и улыбался, как ребёнок.

— Я помогу вам, — сказала Лейла, не оборачиваясь. — Не потому, что верю. Потому что альтернатива ещё хуже. И ещё... — она запнулась, — когда вы назвали это имя, я увидела кое-что. На мгновение. Там, где стоял Мехмет, я увидела трёх женщин. Они смотрели на вас и плакали. — Она повернулась. — Кто они?

Расмус закрыл глаза. Провал на ладони горел холодом. Три силуэта из сна. Жена. Мать. Дочь. Они стояли на границе памяти и ждали, когда он заплатит следующий долг.

— Те, кого я должен вернуть, — ответил он. — Или отпустить. Я ещё не решил.

Лейла кивнула, словно это всё объясняло, и направилась к выходу.

— Нам нужно уходить. О Мехмете позаботятся. У меня есть связи в египетской полиции — его отправят в госпиталь, скажут, что нервный срыв. — Она остановилась у двери. — И ещё одно, Расмус. Следующее имя, которое вы решите назвать, — сначала спросите меня. Я не хочу, чтобы вы стирали людей, не понимая, что творите.

— Согласен, — сказал он, хотя слова дались легче, чем он ожидал. Имена не спрашивали разрешения.

Когда они вышли на залитую солнцем улицу, Расмус обернулся на дом Мехмета. Из окна на втором этаже, где колыхалась чёрная занавеска, на него смотрела пара синевато-чёрных глаз. Но это был не Мехмет. Это было то, что осталось в доме после того, как ушёл человек.

— Куда теперь? — спросил он.

— В Саккару, — ответила Лейла, поправляя кобуру. — Там есть гробница, которую моя нанимательница считает входом в подземелья. И там, судя по записям Мехмета, — она похлопала по карману, куда успела сунуть несколько листов со стола торговца, — находится первый суд. Тот, где взвешивают слова.

Расмус вспомнил свой сон: весы, пустые ладони, пыльца всех несуществующих цветов. И взгляд шакала — усталый, с чем-то отцовским.

— Я готов, — сказал он.

Грудь под рубашкой горела сорока одним огнём.

Они пошли по переулку, оставляя за спиной дом, в котором теперь обитало нечто без имени. А из темноты за чёрной тканью доносился тихий, едва слышный звук — не смех, не плач, а настройка. Словно кто-то пробовал воздух смычком, беря одну ноту и держа её, пока она не начинала дрожать на грани срыва.

Ибрагим играл свою сорокадвухнотную мелодию, и в ней больше не было запинок

Глава 4. Весы без судьи

Саккара, май 1936 года

Пустыня встретила их тишиной громче каирского базара. Расмус стоял на краю раскопа и смотрел, как утреннее солнце съедает тени погребальных шахт. Саккара не походила на Долину Царей: величия, рассчитанного на вечность, здесь не было. Низкие мастабы, осыпающиеся стены из кирпича-сырца, шахты, ведущие в темноту, пахнущую не смертью — забвением. Смерть ещё помнят. Забвение не помнит никто.

Три недели миновало с того дня, как они покинули дом Мехмета. Три недели осторожных расспросов, изучения записей Лейлы и мучительных попыток Расмуса вспомнить хоть что-то о прошлой жизни. Иероглифы на груди вели себя смирно — ни разу не вспыхнули сами по себе, — но по ночам продолжались сны. Три женские фигуры на границе

света и тьмы; каждый раз чуть ближе. Каждый раз он просыпался до того, как мог разглядеть лица.

Лейла превратилась из спасительницы в надзирателя. Не спускала с него глаз, записывала каждое слово, каждый жест, каждый случай, когда иероглифы меняли начертание. Она по-прежнему не верила в магию, но с фактами уже не спорила. Факты: Расмус светился в темноте; знал языки, которым его никто не учил; мог уничтожить человека, одним словом. Последнее Лейла занесла в блокнот с пометкой «не применять без крайней необходимости» и трижды подчеркнула.

— Здесь, — сказала она, указывая на провал в земле, прикрытый досками. — Частная концессия моей нанимательницы. Она купила право раскопок три года назад, когда все нормальные археологи решили, что здесь ничего нет. Слишком старый слой. Додинастика, возможно — протодинастика. Никто не верит, что в Саккаре можно найти что-то старше Джосера.

— Но она верит.

— Она знает, — поправила Лейла, и в голосе проступила смесь уважения и тревоги. — Я никогда её не видела, но её инструкции всегда точны. Она указала мне на вас за три дня до вашего появления в Каире. Знала, что вы проснётесь. Знала, где искать Мехмета. И знает, что под этой шахтой — не гробница. Порог.

— Порог куда?

— В Дуат, — произнёс голос за спиной.

Расмус обернулся. К раскопу приближалась фигура в бе-
дуинском плаще, капюшон низко надвинут на лицо. Голос
женский, молодой, но с надтреснутой нотой — словно обла-
дательница слишком много кричала в прошлом. Она отки-
нула капюшон: лицо, которое показалось бы красивым, если
бы не глаза. Один карий, другой почти чёрный, с расширен-
ным зрачком, не реагирующим на свет. В чёрном глазу горел
тот же синеватый огонёк, что в мордах Псов-Теней, — непо-
движный, запертый, как насекомое в янтаре.

— Сапфира, — представилась она, не подавая руки. —
Адепт Графини. Учёный, если это слово здесь уместно. Я
пытаюсь найти формулу бога. — Усмехнулась, увидев лицо
Расмуса. — Не пугайтесь. Я не более безумна, чем человек,
у которого на груди сорок два имени, включая то, что нельзя
произносить вслух.

— Откуда вы знаете про имена? — иероглифы начали на-
греваться.

— Я их вижу. — Она указала на чёрный глаз. — Этот глаз
видит не мир — написанное. Каждое произнесённое или за-
писанное слово оставляет след. Вы, Расмус, — ходячая библи-
отека следов. Светитесь так ярко, что я видела вас от Ка-
ира.

Лейла шагнула вперёд, заслоняя его:

— Сапфира работает на мою нанимательницу. Специа-
лист по сравнительной мифологии и криптографии. Но у
неё... свои методы.

— Мои методы, — подтвердила Сапфира, — в том, что я верю написанному. А написано вот что: сорок два имени, которые вы носите, — ключи. Каждый открывает дверь. Двери ведут к суду. Но судья — Анубис, Взвешивающий Сердца, — мёртв. Почти мёртв. Умирает уже три тысячи лет, с тех пор как последний жрец произнёс его имя с правильной интонацией. Сейчас он — тень тени. И если вы не поможете ему уйти, он станет тем, что хуже смерти: богом, который забыл, зачем был нужен.

Расмус молчал. Сапфира говорила странное, но иероглифы отзывались глухим теплом на каждое её слово. Особенно тот, что над сердцем, — круг с точкой. Пульсировал в такт голосу. Узнавал.

— Зачем мне помогать ему уходить?

— Потому что иначе вы не пройдёте. Дуат — не место. Состояние. Вы войдёте в него, когда назовёте третье имя. Но чтобы выйти, нужно пройти суд. А суд без судьи — петля. Бесконечное взвешивание без вердикта. Вы застрянете там навсегда, как те, кто пытался пройти до вас.

— Кто пытался?

— Многие. — Сапфира достала из складок плаща папирус, свёрнутый в трубку. — Фрагмент «Книги Мёртвых», найденный в этой шахте три недели назад. Только это не стандартный текст — палимпсест. Под слоем иероглифов более древний слой. И там написано: «Когда Писец войдёт в Дуат, Анубис спросит его не о сердце. Он спросит его о том,

что Писец стёр». — Подняла глаза. — Вы стёрли человека в Каире. Мехмета. Ваше третье имя, «Ашпуру», оставило дыру в ткани реальности. И теперь Анубис хочет знать: чем вы заполните эту дыру?

Расмус перевёл взгляд на Лейлу. Та стояла, скрестив руки, и смотрела на Сапфиру с откровенной неприязнью.

— Ты не говорила, что спустишься с нами.

— Потому что ты бы не согласилась. — Сапфира не отвела взгляда. — Но без меня вы не пройдёте и половины пути. Я знаю язык, на котором говорит умирающий бог. И знаю, что Расмусу придётся сделать, чтобы освободить его.

— И что же?

Сапфира повернулась к Расмусу. Чёрный глаз блестел — не синевой, а чем-то похожим на отражение луны в мутной воде.

— Он должен записать не имена судей. Он должен записать смерть самого Анубиса. Акт умирания, облечённый в слово. Это и есть недостающая глава «Книги Мёртвых». Та, которую никто не писал, потому что никто не хотел признать: боги смертны.

Спуск в шахту занял около часа. Лейла шла первой, освещая путь электрическим фонарём; за ней Расмус; Сапфира замыкала цепочку, и он спиной чувствовал её взгляд — один глаз карий, человеческий, другой чёрный, видящий слова.

Стены покрывали не иероглифы — граффити. Кто-то выцарапал на камне фразы на арабском, греческом, коптском. «Я был здесь». «Прости меня». «Я искал свет и нашёл только тьму». И одна, свежая, на английском: «Он всё ещё ждёт».

— Мехмет, — тихо сказала Лейла, осветив последнюю надпись. — Он был здесь до того, как нашёл табличку.

— Не просто был, — отозвалась Сапфира. — Он отсюда вышел. Точнее, то, что вошло в него, вышло отсюда вместе с ним.

Расмус коснулся стены. Камень холодный, но под пальцами пульсировало тепло — такое же, как от иероглифов на груди. Они приближались. Иероглифы знали это и настраивались, как сорок две струны одного инструмента.

Шахта закончилась внезапно. Круглая камера, посреди — саркофаг. Не гранитный, не деревянный — стеклянный. Или казавшийся стеклянным: прозрачный материал, в глубине которого плавали золотые искры, складываясь в медленно меняющиеся узоры. Внутри — мумия в полный рост, но не человеческая. Голова шакала, вытянутая морда, уши прижаты к черепу. И глаза — открытые, живые, усталые.

— Анубис, — прошептал Расмус.

— То, что от него осталось, — поправила Сапфира. — Не бог. Не труп. Нечто посередине. Не может умереть, пока его имя помнят. Не может жить, потому что никто не помнит, как правильно произносить это имя. Кроме вас.

Расмус подошёл к саркофагу. Глаза шакала следили за

ним — не враждебно, не дружелюбно. С бесконечной усталостью существа, которое видело всё и хочет только одного: чтобы всё наконец закончилось.

— Ты пришёл, — произнёс голос не вслух — прямо в сознание, обходя уши. — Третий Писец за тысячу лет. Первый пытался воскресить меня. Второй — убить. Ты — кто?

Расмус сглотнул. Ответ не приходил. Спаситель? Разрушитель? Редактор, правящий текст мира?

— Я тот, кто хочет понять.

— Понять — не действие, — ответил Анубис. — Понять можно, лёжа в гробу. А ты стоишь. Значит, не понять. Пройти.

— Да.

— Тогда заплати. — Глаза шакала вспыхнули, и Расмус увидел в них отражение собственной груди с сорока двумя иероглифами. — Ты стёр человека три недели назад. Его звали Мехмет, но до того, как он взял это имя, его звали иначе. Ты знаешь, как?

— Нет.

— Ахмед ибн-Юсуф, — произнесла Сапфира за спиной. — Сын торговца коврами из Дамаска. Мехмет — профессиональный псевдоним.

— Вот видишь, — сказал Анубис. — Ты даже не знал имени того, кого стёр. Использовал слово, не понимая цены. А цена есть всегда. Тот, кто называет имена, должен знать их. Должен помнить. Должен носить их в себе. Ты носишь сорок

два. Но готов ли ты носить ещё одно? Имя того, кого убил?

Иероглифы на груди зашевелились. Третий, «Ашпуру», начал жечь, как клеймо. И к нему прибавился новый знак, растущий прямо из-под кожи: арабская вязь, складывающаяся в «Ахмед ибн-Юсуф».

— Я запомню. — Голос Расмуса прозвучал глухо, но твёрдо. — Я буду носить его имя. И когда придёт срок, верну его. Или отпущу. Но не забуду.

Анубис долго смотрел на него. Затем закрыл глаза — впервые за три тысячи лет, — и по стеклянной поверхности саркофага побежала трещина.

— Тогда пиши. Пиши мою смерть. Дай мне уйти.

Сапфира достала из складок плаща тростниковую палочку — точную копию той, что Расмус видел во сне, — и флакон с чернилами. Чернила не чёрные — золотые, пахли лотосом и полынью.

— Инструмент писца. Настоящий. Не знаю, откуда он у Графини, но она велела передать его вам, когда придёт время. Время пришло.

Расмус взял палочку. Дерево тёплое, почти горячее, вибрировало в ладони как живое. Иероглифы на груди засветились все разом, и он понял: это не просто инструмент. Часть его самого. Или он — часть инструмента.

— Пиши, — повторил Анубис. — Не на папирусе. На мне.

Расмус обмакнул палочку в чернила, подошёл к саркофагу и коснулся стеклянной поверхности. Золотая линия оста-

лась на прозрачном материале, как росчерк молнии. Он начал писать — не иероглифами, не буквами, а знаками, которых никогда не видел, но знал всегда. Они выходили из-под руки сами, и каждый знак отдавался болью в одном из сорока двух иероглифов. Не умиранием — прощанием.

Он писал смерть Анубиса. И с каждым словом бог в саркофаге становился всё прозрачнее, всё легче, пока не превратился в золотое облако. Облако поднялось к потолку камеры и растаяло, оставив запах натрона и засахаренного мёда.

Последний знак Расмус вывел на пустом саркофаге. Прочитал его — и понял: это слово. Одно-единственное.

«Прощай».

Иероглифы на груди погасли все до единого. А затем зажглись снова — уже не сорок два, а сорок три. Новый знак располагался над сердцем: не египетский, не шумерский, не арабский. Знак, не существовавший ни в одной человеческой письменности. Знак Анубиса — ушедшего бога, чью смерть записал Писец.

Сапфира подошла и коснулась нового иероглифа пальцем.

— Ты не стираешь. Ты пишешь. Не только имена. Судьбы. Смерти. Ты не редактор, Расмус. Ты автор.

— Я не хочу быть автором.

— Никто не хочет. Но кто-то должен.

Наверх поднимались в молчании. У выхода из шахты их

ждал закат — неестественно красный, словно небо над Саккарой тоже прощалось с кем-то. Расмус стоял на краю раскопа и смотрел, как солнце касается горизонта. В руке — всё ещё тростниковая палочка.

— Одно я не понимаю, — сказала Лейла, подходя. — Если Анубис мёртв, кто теперь будет взвешивать сердца?

— Никто, — ответила Сапфира за обоих. — Отныне каждый взвешивает себя сам. Это и есть настоящий суд.

Расмус промолчал. Он думал о трёх фигурах из снов — о матери, жене, дочери. Однажды придётся написать и их имена. И он не знал, чем это закончится: возвращением или прощанием. Но теперь у него была палочка. И чернила. И сорок три имени на груди, каждое из которых ждало своего часа.

Где-то далеко, за песками, за Нилом, за минаретами Каира, скрипка Ибрагима играла сорокатрёхнотную мелодию. И в ней больше не было запинок.

Глава 5. Храм памяти

Саккара, май 1936 года, ночь

Они шли по пустыне уже час, и за это время никто не произнёс ни слова.

Сапфира двигалась впереди, ориентируясь по звёздам с точностью, выдававшей многолетнюю привычку к ночным переходам. Её бедуинский плащ развевался, как крыло ноч-

ной птицы, и в неверном свете молодой луны фигура казалась сотканной из тени и серебра. Лейла шла следом, сжимая в одной руке фонарь — пока выключенный, — в другой пистолет. Расмус замыкал цепочку. Сорок три имени внутри него молчали, словно затаив дыхание перед тем, что должно было случиться.

За грядой низких холмов открылась долина, усеянная обломками известняка. Среди руин возвышалось здание, непохожее ни на что, виденное Расмусом в Египте. Не мастаба — слишком высоко. Не пирамида — слишком приземисто. Не храм в классическом понимании: колонны отсутствовали, фасад — гладкая стена с единственным входом, над которым был высечен глаз. Не уджат — обычный глаз, человеческий, с точкой зрачка, пронзающей камень.

— Храм Тота, — сказала Сапфира, останавливаясь. — Так его называют арабы. На самом деле он гораздо старше. Египтяне Первой династии находили его уже разрушенным. Считали, что построили его те, кто умел записывать время до того, как время начали отсчитывать.

— И что внутри? — спросила Лейла.

— Память. — Сапфира повернулась к ним, и чёрный глаз блеснул в темноте, отражая не луну, а что-то, чего на небе не было. — Не человеческая. Божественная. Каждый бог, когда-либо существовавший, оставляет здесь след. Слово, записанное в момент его величайшей силы — или слабости. Иероглифы, которые вы носите на груди, Расмус, — осколки

тех слов. Вы — ходячий архив. И я привела вас сюда, чтобы вы поняли: архив должен быть закрыт.

— Что это значит? — спросил Расмус, хотя уже чувствовал ответ. Иероглифы начинали нагреваться, и среди них проснулся новый знак — тот, что появился после смерти Анубиса. Пульсировал тревожно, словно предупреждал.

— Это значит, — голос Сапфиры утратил последние человеческие ноты, стал монотонным, как чтение литании, — что каждое имя, которое вы произносите, не освобождает богов. Оно кормит Того-Кто-Ждёт. Мамму не хаос. Мамму — это голод. Он пожирает смыслы. Он растёт внутри вас, Расмус, с каждым названным словом, и когда вы назовёте сорок второе — своё собственное имя, — он родится. Вы — не Писец. Вы — инкубатор.

Лейла вскинула пистолет. Сапфира не пошевелилась.

— Ты лжёшь. Ты сама говорила, что он должен помочь Анубису уйти. Он помог. Анубис умер. Это не может быть кормлением.

— Анубис умер, — согласилась Сапфира. — И его смерть была самым сладким блюдом, которое Мамму пробовал за последние три тысячи лет. Ты думаешь, почему старый бог улыбался, когда исчезал? Не от облегчения. От ужаса. Он понял, что его уход открыл дверь. И теперь эта дверь — вот здесь. — Она указала на грудь Расмуса, туда, где горел круг с точкой. — Последнее имя. Ваше. Произнесите его — и станет поздно.

Расмус смотрел на неё. Холодный пот стекал по рёбрам. Но под страхом шевелилось иное — почти болезненное узнавание. Он не знал, правда ли то, что говорит Сапфира, однако что-то в нём самом отзывалось на её слова, как камертон на правильную ноту.

— Если я инкубатор, — медленно произнёс он, — почему вы помогали мне? Зачем дали палочку? Зачем привели сюда?

— Потому что убить вас в Каире было бы бессмысленно. — Сапфира шагнула ближе, и Лейла взвела курок. — Мамму не погиб бы вместе с вами. Он перешёл бы в другого носителя. Чтобы уничтожить его, нужно не просто убить Писца. Нужно стереть все имена, которые он носит. Все сорок три. А это можно сделать только здесь, в Храме памяти, где каждое слово имеет вес и каждое имя можно развоплотить.

Она вытащила из складок плаща нож. Лезвие из обсидиана, чёрное и блестящее, как застывшая нефть; рукоять обмотана полосками папируса, исписанного крошечными иероглифами.

— Нож забвения, — сказала Сапфира. — Ему пять тысяч лет. Им жрецы Первой династии вырезали имена фараонов-еретиков из храмовых надписей. Один удар — и все сорок три имени исчезнут с вашей кожи. И вместе с ними исчезнет Мамму. Навсегда.

— И я? — спросил Расмус.

— И вы. — В голосе ни торжества, ни печали. Холодная

убеждённость математика, доказывающего теорему. — Это и есть формула бога. Уравнение с одним неизвестным. Неизвестное — вы. Решение — ваша смерть.

Лейла выстрелила.

Пуля ударила Сапфиру в плечо — или должна была ударить. За мгновение до выстрела чёрный глаз вспыхнул, воздух вокруг неё сгустился, искажая пространство, как нагретый воздух над костром. Пуля прошла сквозь неё, не оставив раны, и выбила облачко пыли из камня храма.

— Глупо, Лейла. — Сапфира не повысила голоса. — Ты до сих пор думаешь, что физика работает здесь так же, как в Каирском музее. Но мы не в музее. Мы в месте, где записаны законы мироздания. И я знаю, как их читать.

Она взмахнула рукой — фонарь Лейлы разлетелся вдребезги. Ещё один жест — пистолет вырвался из пальцев и отлетел в темноту. Лейла вскрикнула, схватившись за запястье. Сапфира двинулась к Расмусу, держа нож перед собой, как ритуальный предмет.

— Я не хочу причинять вам боль. Я вообще не хочу причинять боль. Я хочу спасти мир. Всё, что вы чувствуете сейчас, — это голос Мамму, который убеждает вас жить. Пока вы живы, жив и он. Отпустите это. Позвольте мне сделать то, что должно.

Расмус попятился. Ноги не слушались; иероглифы горели, как сорок три маленьких солнца; перед глазамиплыли образы — не воспоминания, а их тени. Вода, чёрная и неподвиж-

ная. Три женские фигуры на берегу. Горшок, разбитый пополам. Голоса, которых он не слышал, кричали ему: *вспомни, ты должен вспомнить, иначе всё было зря.*

— Я не могу. — Голос сел до шёпота. — Я ещё не... я должен найти их.

— Кого? — Сапфира остановилась, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на любопытство. — Тех трёх женщин из ваших снов? Я видела их. Я вижу всё, что написано. Их имена стёрты. Их нет ни в одной книге, ни в одной памяти, кроме вашей — и то угасающей. Вы не сможете их вернуть. Вы можете только последовать за ними. Туда, где нет имён.

— Нет! — Лейла поднялась, преодолевая боль, и встала между Сапфирой и Расмусом. — Ты не понимаешь. Он не просто инкубатор. Он — единственный, кто может дать имена тем, кого забыли. В доме Мехмета, когда он стёр его, — я видела этих женщин. Они были настоящими. Они смотрели на него и ждали. Если ты убьёшь его сейчас, они навсегда останутся пустотами.

— Пустоты — это честно, — ответила Сапфира. — Пустоты — это отсутствие. А Мамму — это присутствие. Присутствие того, чего не должно быть. Я выбираю пустоты.

Она отшвырнула Лейлу одним движением руки — даже не прикоснувшись — и бросилась к Расмусу.

Дальнейшее растянулось, как резина перед тем, как лопнуть. Надвигающееся лезвие — чёрное, жаждущее стереть его имена. Лицо Сапфиры — искажённое не злобой, а стран-

ной, почти материнской решимостью. Лейла, пытающаяся подняться. Небо над храмом, где луна вдруг стала красной, как в тот вечер после смерти Анубиса.

И тогда он сделал единственное, что имело смысл.

Он не стал защищаться. Он открыл рот и произнёс имя — но не своё. Не одно из сорока двух. И даже не «Ашпуру», которое сожгло Мехмета. Он произнёс имя, возникшее из ниоткуда, как возникают слова в момент, когда сознание отключается и говорит только тело. Точнее — говорит то, что вписано в тело.

— Сешат.

Имя упало в воздух, как камень в воду.

Сапфира замерла, будто налетев на невидимую стену. Нож выпал из пальцев, зазвенел о камень. Чёрный глаз её расширился — впервые за всё время он отреагировал на внешний раздражитель, — и из него хлынул свет. Не синеватый, не золотой. Белый. Чистый. Свет, который не освещает, а вымывает.

— Что... — начала она, но договорить не успела.

Из тёмного провала входа в храм вырвался ветер. Он пах не пылью, не песком — чем-то древним и сухим, как страницы книги, пролежавшей в гробнице пять тысяч лет. Ветер обвился вокруг Сапфиры, поднял её над землёй и швырнул о стену — не грубо, а скорее неумолимо, как исправляют опечатку.

Расмус стоял, не в силах пошевелиться. Иероглиф, соот-

ветствующий имени «Сешат», горел так ярко, что сквозь рубашку было видно, как золотой свет пульсирует в такт сердцу. Четвёртое имя. И оно было именем богини.

— Сешат, — повторил он, уже осознанно. — Та, что записывает судьбы. Та, что измеряет время.

Сапфира лежала у стены храма и смеялась. Страшный смех — не истеричный, не безумный, а тихий, как шелест пергамента.

— Ты назвал её. — Голос сползал до шёпота. — Ты назвал ту, кого даже Мамму боится. Ты не просто Писец. Ты... — Она закашлялась, и изо рта вытекла струйка не крови — золотистой пылицы, той самой, что Расмус видел во сне между ладонями Анубиса. — Ты — её инструмент. Её палочка. Её...

Она не закончила. Оба глаза — и карий, и чёрный — закрылись одновременно, и тело обмякло. Но Расмус чувствовал: она не умерла. Она ушла. Туда, куда уходят непроизнесённые слова.

Лейла, прихрамывая, подошла к нему. Лицо бледное, на скуле набухал синяк, но взгляд оставался ясным.

— Сешат. Богиня письма. Та, что записывает имена фараонов на листьях древа жизни. Ты назвал её имя — и она ответила. Почему?

Расмус опустился на колени. Силы покинули его; иеро-

глифы на груди медленно остывали, и только один, тот, что горел только что, всё ещё пульсировал мягким теплом.

— Я не выбирал это имя. Оно само пришло.

— Ничего не приходит само. Ты носишь их не просто так. Может быть, они — не твоё проклятие. Может быть, они — твоя память. Или чья-то ещё.

Расмус поднял голову и посмотрел на храм. Ветер стих, вход снова тёмн, но теперь он чувствовал — оттуда кто-то смотрит. Не Мамму. Не Анубис. Кто-то женский, древний, спокойный. Та, что записывает судьбы. Та, что измеряет время.

— Я должен войти.

— Нет. — Лейла покачала головой. — Сначала отдых. У тебя кровь на рубашке. Ты чуть не умер.

— Я умру в любом случае, если не пройду до конца. Сапфира была права в одном: каждое имя приближает меня к чему-то. И я хочу знать, к чему именно.

Он встал, покачнулся и удержался на ногах. Лейла молча взяла его за локоть — не удержать, поддержать.

— Я с тобой. Но сначала перевяжем твои раны. Ты истекаешь не кровью — светом. А это, по-моему, ещё хуже.

Расмус опустил глаза. Сквозь ткань сочился слабый золотистый свет, похожий на фосфоресценцию гнилого дерева. Боли не было, но он знал: так было не всегда. Когда-то он был обычным человеком. Семья. Имя. Прошное.

Теперь остались только сорок три иероглифа и путь, ве-

дущий в темноту.

Они вошли в храм на рассвете.

Внутри — ни колонн, ни статуй, ни алтарей. Только стены, гладкие, отполированные до зеркального блеска, покрытые письменами. Тысячи, десятки тысяч знаков, вырезанных не резцом, а чем-то более тонким, почти лазерным. Египетские иероглифы, шумерская клинопись, финикийский алфавит, греческий, латынь, арабская вязь, санскрит, китайские иероглифы и десятки систем, которых Расмус не узнавал. Они наслаивались, перекрывая друг друга, и каждый слой просвечивал сквозь предыдущий, создавая трёхмерную карту смыслов.

— Память, — прошептала Лейла. — Здесь записано всё. Вся история. Все имена.

— Не все, — раздался голос из центра зала.

Расмус повернулся и увидел её.

Женщина стояла у противоположной стены, спиной к ним, изучая надписи. Длинное платье из тонкого льна, перехваченное золотым поясом; на голове — убор в виде семи-конечной звезды. Когда она обернулась, Расмус увидел лицо, которое показалось бы молодым, если бы не глаза — древние, как сам храм, и спокойные, как воды Нила в полдень.

— Я записала многое, — сказала она. — Но не всё. То, что потеряно, — потеряно навсегда. Если только не найдётся

тот, кто готов записать это заново.

— Сешат, — произнёс Расмус.

Она кивнула.

— Ты назвал моё имя, Писец. Мало кто осмеливается. Ещё меньше — умеют. Ты умеешь. Хотя сам не знаешь почему.

— Я хочу знать. Кто я. Зачем мне эти имена. И кто те три женщины, которых я вижу во сне.

Сешат улыбнулась — мягко, с той же древней печалью, что и Анубис перед смертью.

— Ты хочешь знать слишком многое сразу. А знание — это груз. Каждое имя, которое ты произносишь, делает тебя тяжелее. Скоро ты не сможешь идти.

— Я справлюсь.

— Да. Справишься. Но прежде, чем ты пойдёшь дальше, я покажу тебе кое-что.

Она подняла руку и коснулась стены. Письмена вспыхнули, часть стены стала прозрачной, открывая вид не на пустыню, а на комнату. Обычную комнату с побеленными стенами, деревянным столом, чашкой кофе. В комнате сидел человек — Расмус узнал себя, но моложе, без иероглифов, без шрамов. Рядом женщина — не Лейла, другая, с тёмными волосами и усталым лицом. Она что-то говорила, но слов не было слышно — только движения губ.

— Это твоё прошлое. То, что ты забыл. Она — твоя жена. Её имя...

— Не надо. — Расмус отвёл взгляд. — Я ещё не готов.

— Как хочешь. — Сешат опустила руку, и видение исчезло. — Но ты должен знать: её имя — одно из сорока двух. И когда ты назовёшь его, она либо вернётся, либо исчезнет навсегда. Третьего не дано.

— Почему?

— Потому что так работает письмо. То, что записано, — существует. То, что стёрто, — не существовало никогда. Ты — Писец. Ты решаешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.